

## ПОВАР РОКОССОВСКОГО

*Памяти Жукова Якова Ивановича,  
крестьянина и солдата*

### I

Летом сорок пятого он вернулся в совхозную нашу деревню, усталый, небритый, будто со страдной работы – с посевной там, с сенокоса ли, – когда от зари до зари не выпрягаешься и не до бритья.

Он сидел, сутулясь, на табуретке и переднем углу низкой своей горницы, обнимал за плечи подросших дочерей Зину и Раю, у ног лежал тощий солдатский вещмешок, о пыльные кирзовые сапоги тёрлась, мурлыкая, старая рыжая кошка – радовалась возвращению хозяина.

А мы с Шуркой глядели на него разочарованно. По рассказам мамы, он был чуть ли не героем, а тут ничего особенного, усталый сорокалетний мужик, густо поседевший, сутулый, с глубокими уже морщинами, которые особенно крупно сбились на высоком загорелом лбу. И мятые солдатские погоны на покатых плечах – пехотные, красные, вернее, малиновые, без единой даже лычки; с выгоревшей гимнастёрки свисает, покачиваясь, всего три медали. За четыре-то года войны.

Белобрысая рослая Зина, моя ровесница, уже округлившаяся, плотненькая, высвободилась из-под его руки и деловито отправилась в кухонный чулан, а чёрненькая, меньшая Рая, которую мы прозвали Шарипкой за её похожесть на татарку, побежала в магазин.

Он свернул махорочную самокрутку, прикурил от фитиля самодельной «катушки», затянулся несколько раз, выпуская дым в раскрытое окошко. Потом выбросил туда же окурок, достал из вещмешка кулёк с конфетами «подушечками» и стал оделять ребятешек. Они подходили с протянутыми ручонками, говорили «спасибо», тотчас совали конфетку за щёку и убегали, довольные.

Последним подошёл наш выводок.

– Ну, здравствуй, племяш, со свиданьем! – он подал мне, как взрослому, руку, осторожно пожал и встряхнул. – Большой уже вырос, мужиком скоро станешь. Четырнадцать есть?.. Да, совсем большой. А это, стало быть, наши младшие? Забыл, как звать...

– Шурка, – сказал меньший мой брат, подавая ему раскрытую ладонь. Зажал конфетку и уступил место сестрёнкам.

Я назвал их имена: Тоня, Валя, Люда. Последней исполнился всего один год, только встала на ноги, Вале было четыре, Тоне – семь. Он дал им по конфетке и всхлипнул:

– Мал мала меньше. Господи, за что ты их так? – сгреб всех, прижал к себе и держал, обняв, с минуту. – В январе он погиб? – спросил об отце, отпустив девчонок и вытирая рукой глаза.

– В январе, – сказал я, – двадцатого января.  
– Каких-то три месяца не дотянул. Господи, сколько же их полегло там, ваших защитников, кормильцев! – и опять как-то по-бабьи всхлипнул.

А мама рассказывала, что именно он, Яков Иванович, средний её брат и, стало быть, наш дядя, слыл сорвиголовой, отчаюгой, слёз у него с детства никто не видел. Об этом знали и в родимой Хмелёвке, откуда они приехали перед войной, и в нашем совхозе, и во всей мелекесской округе. Рисковый, безоглядный был человек. И на редкость способный ко всякому делу: к полезному ли, к бездельному ли озорству.

В юности он водился с компанией сельских отчаюг, был стойким бражником и песельником, не спускал никому обид, любил азартные игры и особенно карточное «очко».

Однажды, ещё до колхозов, отец послал его в Мелекесс на пароконной подводе продавать рожь. Яков Иванович перед этим отметил своё двадцатилетие, был в зените славы непревзойдённого сельского картёжника и решил испытать свое искусство в уездном городе. Играть взялся прямо на базаре, сразу после торгов. Все вырученные за рожь деньги он просадил в один вечер. Суровый Иван Ильич, его отец, вздул Яшку, но всё же доверил съездить в Мелекесс ещё раз: очень уж просил виноватый сукин сын, очень уж клялся, что такого не повторится.

Пять дней спустя Яшка пришёл домой с одним кнутом за голенищем: он хотел отыгаться и продул всё – рожь, повозку, лошадей, сбрую, даже брезентовый полог. «А кнут для чего оставил, дурак?» – удивился Иван Ильич. Выхватил у него кнут и хлестал до изнеможения – Яшка не сопротивлялся. Он понимал, что крестьянский двор без лошадей обречён на нищету. А работник он был на диво хороший. Вместе с отцом и братьями потом он горбатился, не разгибаясь, опять куплены были лошади, выправилось хозяйство, но тут пришла коллективизация, отец умер, и всё пошло прахом.

– «За отвагу!» – шепнул мне на ухо Шурка, показывая пальцем на одну из медалей, белую, с красными буквами, с литым танком между ними.

Да, медаль геройская, серьёзная и, должно быть, из серебра. Такие за пустяк не дают. А рядом тоже нешуточные – «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией». Обе бронзовые, а выглядят как золотые. На последней профиль Сталина и гордые слова вокруг: «Наше дело правое – мы победили».

Тут в избу с плачем вбежали мама и простоволосая тётя Саня, которые были на ферме. Яков Иванович, звеня медалями, встал, обнял их обеих, рослую сестру и маленькую, худенькую жену, стал попеременно целовать то одну, то другую и тоже всхлипывал, радостно улыбаясь.

В избу стал сходить взрослый народ, в основном бабы и старушки, многие несли с собой припасы к столу – хлеб, яйца, зелёный лук, первые огурцы, картошку-скороспелку, бражку, самогон. С миру по нитке – голому

рубаха. В одиночку ведь ник в одиночку.

Вскоре Яков Иванович в окружении односельчан миная молодость.

Чистый и звонкий голос тянул за собой чуть надтронули они были примерными, и ке, за семь вёрст отсюда вечерках, песня потом и

В начале застолья го как слушают заезжих ар чём победно переглядыв родней. Вишь, как зали

Ах ты, ду  
Мы пойдё  
Мы пойдё  
Вдоль по  
Мы придё  
Мы нарвё

Неторопливо, плави кровенном, и беседа эт что-то сердечное, люб

С середины застолья Яков Иванович с тётей все. Но тоже с оглядко

Скакал к  
Через м  
Скакал с  
Блестил

Потом завели «Ка

Пели истово, сер

дивился не столько у

лению, слаженной ар

Тамадой на права

могон и бражку, пода

с закуской, церемонн

– Кушайте, доро

Только больше мое

донишко и топнула

помирать буду!

– Молодец, Лёня

– Так-то так, да е

уцелеть.

рубаха. В одиночку ведь праздничный стол не огорюешь. Да и какой праздник в одиночку.

Вскоре Яков Иванович с тётёй Саней сидели, обнявшись, за столом в окружении односельчан и, уже повеселевшие, успокоенные, пели, вспоминая молодость.

Чистый и звонкий голос тётёи Сани взлетал высоко и с игривой лёгкостью тянул за собой чуть надтреснутый, баритон Якова Ивановича. Песельниками они были примерными, известными не только здесь, но и в родимой Хмельёвке, за семь вёрст отсюда. Говорят, песня их сдружила на далёких сельских вечерках, песня потом и поженила.

В начале застолья гости деликатно помалкивали, почтительно слушали, как слушают заезжих артистов и сравнивают со своими песельниками, причём победно переглядываясь: а наши-то, пожалуй, бойчее будут, веселее, родней. Вишь, как заливаются!

*Ах ты, душечка, красна девица,  
Мы пойдём с тобой разгуляемся!  
Мы пойдём с тобой вдоль по бережку,  
Вдоль по бережку Волги-матушки.  
Мы придём с тобой во зелён лужок,  
Мы нарвём цветов и совьём венок!..*

Неторопливо, плавно, раздольно – будто беседа о самом простом и сокровенном, и беседа эта успокаивает, примиряет с грустной жизнью, обещает что-то сердечное, любовное.

С середины застолья, когда хмель позвал на подвиги самых застенчивых, Яков Иванович с тётёй Саней завели общие песни, хоровые, и тут уж запели все. Но тоже с оглядкой, подстраиваясь под запевал.

*Скакал казак через долину,  
Через маньчжурские края,  
Скакал он, всадник одинокий,  
Блестит колечко на руке...*

Потом завели «Катюшу», спели «Ревела буря, дождь шумел...».

Пели истово, серьёзно, вытирали вспотевшие от напряжения лица, и я дивился не столько умению, сколько необыкновенному старанию, воодушевлению, слаженной артельности и здесь, за столом.

Тамадой на правах сестры служила мама, она энергично разливала самсон и бражку, подавала на дальние концы сдвинутых столов хлеб и миски с закуской, церемонно угощала:

– Кушайте, дорогие гости, ешьте на здоровье и давайте ещё по одной. Только больше моего не пить! – опрокинула стаканчик, поцеловала его зыбко и топнула ногой. – И пить буду, и гулять буду, а смерть придёт, помирать буду!

– Молодец, Лёня, так и надо.

– Так-то так, да если бы её Николай вернулся, если бы нашим мужикам сделать...

Звенели рюмки, стаканы и кружки, всхлипывали вдовы, весело кричали на лужайке за окном играющие ребятишки.

И ещё запомнился мне рассказ Якова Ивановича о войне. Краткостью своей, неожиданной концовкой.

— Два с лишним года в пехоте — что тут хорошего. Одна смерть, если быстрая, если сразу наповал, — смерть на миру, за Родину. А остальное просто и тяжело: отступал, оборонялся, наступал, госпиталю да лазареты, а стал нестроевым — в повара. Больше года поваром — самая хорошая служба: и сытый, и убьют не всегда. Если уж пушки накроют или угодишь под бомбежку, тогда, конечно... Да на то ты и солдат, чтобы беречься.

Надо же — закончить войну поваром! И эта его поварская мудрость: на то ты и солдат, чтобы беречься. А воевать кто будет, гвардейцы? И как ты в бою уберёжешься? А в наступлении? Ползком атаковать, попластунски?..

Но его поддержал одноногий фронтовик Мещеряков, мужик тоже неробкий:

— Правильно, Яков, главное — не лезть на рожон. Первый-то год мы не береглись, на «ура» хотели, в штыковую. А хитро ли своими трупами путь ему умащивать. Потом поумнели, приноровились...

Бабы напомнили, что обеденный перерыв давно кончился, айда-те на работу, а то управляющий строгий, запишет прогул, и Манькой звали. Запросто год принудиловки припаяют.

— А я уж выйду завтра, — сказал Яков Иванович. — Нынче малость отдохну с дороги, а с утрачка за дело. На носу жнитво, а вы с сенокосом, гляжу, не управились...

## II

Яков Иванович знал все сельские работы. Я видел его и плугарем с железным чистиком в руках, и сеяльщиком, в туче чёрной пыли, ползущей за посевным агрегатом, и размашистым косцом на степном лугу, и взмохшим стогометальщиком, с зелёным облаком сена над головой, и пропахшим смолистой стружкой плотником, и умелым шорником, с чёрными нитками дратвы на руках, и землекопом, огородником, животноводом; он ловко, как заправский ветеринар, «облегчал» быков, чтобы вскоре превратить их в рабочих волов; умело забивал и разделывал туши животных от кролика до свиньи; хорошо выделывал кожи, особенно овчины; мог сшить тулуп и полушубок, подшить валенки, подоить корову, сбить масло; он делал весёлую и ароматную брагу, гнал крепкий, как спирт, самогон и, выпив, не только любил петь со своей Саней, но и молодецки сплясать...

Всё он знал и умел, редкостный этот человек, к тому же обладал «добрым глазом» и «лёгкой рукой». В деревне верили, что он, поглядев на больную скотину, мог исцелить её. Иногда при этом он гладил её, поил настоем каких-то трав или водкой, разбавленной водой. Если бык объедался росной люцерны или зелёного гороха, бежали за ним. Яков Иванович доставал шило с трубочкой, прицельным ударом пробивал вздувшееся бычье брюхо, оттуда через оставленную трубочку свистал парной газ, брюхо медленно

опладало, и бык облегчённо вздохнул, продолжая жить.

И купить новую корову, Яков Иванович мог уже молоком или как козье, в удойную или как козье, учитывал форму и размер зубья, промежуток, высоту в хозяйский двор, в хлев вводил скотина не станет тосковать.

За все такие и подобные поступенья не отказывался. А большая закуска. Тётя Саня во бери, мол, деньгами, озолоти. Но он только смеялся: тала и плата.

Многое умел Яков Иванович, знал, но, вспоминая его, я в грядке чик полевой кухни у лесной пещеры от печного жара мужика в над ним красное полотнище сев (или уборку хлебов) в севе.

В деревне как-то не приняв Якову Ивановичу это не имело значение как для человека особого.

Поваром он был отменным, тошку, но делал вкусные винегреты, варил сладкие компоты. Но гречневая каша с мясом. Это не просто насыщало голод, наслаждение, быстро возвращало к жизни, мы валились на траву и возвращались к тракторам и плугам.

Ни в каких столовых и ресторанах, не едал я такого борща.

Превосходным поваром считались его искусством и как бы между прочим.

— Рокоссовский вот так же.

— Какой Рокоссовский, не было.

— И скрывался от даг.

Впервые услышав о Рокоссовском Яков Иванович уклонился.

«Ничего удивительного», с полевой кухни. Или, может, тебе

опладало, и бык облегчённо вздыхал и поднимался, пригодный опять к продолжению жизни.

И купить новую корову, особенно молодую, первотёлку, приглашали его. Яков Иванович мог уже в нетели определить, какая из неё выйдет корова – удойная или как коза, смиренная или предводительница, с жирным молоком или так себе, серединка на половинку. При этом он глядел у неё зубы, учитывал форму и размах рогов, длину ног и хвоста, ширину межреберных промежутков, высоту холки. И купленную с его помощью корову в хозяйский двор, в хлев вводил тоже он – рука у Якова Ивановича лёгкая, скотина не станет тосковать о прежнем хозяине.

За все такие и подобные услуги Яков Иванович платы не брал, но от угощенья не отказывался. А русское угощенье – это добрая выпивка и хорошая закуска. Тётя Саня ворчала на него, встречая нетрезвым, намекала, Берки, мол, деньгами, озолотимся, лисипед купим, а то и швейную машинку. Но он только смеялся: таланты, они от Бога, а за Божий дар Божеская и плата.

Многое умел Яков Иванович, не было в деревне дела, которого бы он не знал, но, вспоминая его, я в первую очередь почему-то вижу зелёный вагончик полевой кухни у лесной полосы, в дверном проёме вагончика меднолицего от печного жара мужика в белом фартуке и в такой же белой шапочке, а над ним красное полотнище с меловыми буквами: «Проведём весенний сев (или уборку хлебов) в сжатые сроки!»

В деревне как-то не принято, чтобы кухонным делом занимался мужик, но к Якову Ивановичу это не имело отношения, для него сразу сделали исключение как для человека особенного, не подходившего под общую мерку.

Поваром он был отменным. Причём готовил не только супы, каши, картошку, но делал вкусные винегреты и салаты, пек блинчики, лепил пельмени, варил сладкие компоты. Но лучше всего удавались ему украинский борщ и гречневая каша с мясом. Это было какое-то ароматное чудо, причём чудо это не просто насыщало голодный желудок, оно доставляло неизъяснимое наслаждение, быстро возвращало силы, успокаивало. Осовелые от плотной еды, мы валились на траву или в копну соломы и с полчаса дремали. Потом возвращались к тракторам или к комбайнам, отдохнувшие, весёлые, хоть запевая.

Ни в каких столовых и ресторанах потом, ни в столичных, ни в заграничных, не едал я такого борща, такой каши. И теперь уж никогда не поем.

Превосходным поваром был Яков Иванович. И когда благодарные едоки восхищались его искусством, он согласно кивал пепельной от седины головой и как бы между прочим ронял:

– Рокоссовский вот так же, бывало, хвалил.

– Какой Рокоссовский, неужто тот самый?

– Какой же ещё, – морщил лоб Яков Иванович. – Другого на фронте не было. – И скрывался от дальнейших расспросов в вагончике.

Впервые услышав о Рокоссовском, я не поверил, а от рассказа о нём Яков Иванович уклонился. Когда же мои домогательства надоели, ответил, что ничего удивительного тут нет, поварскую школу он закончил на «отлично», с полевой кухней пересёк германскую границу, пищей все были довольны. Или, может, тебе не по душе моя готовка?

– Нет, очень все хорошо, вкусно, но ведь маршал всё-таки, знаменитость...

– Он солдатским маршалом был, почище самого Жукова, может...

– Вот и расскажи подробней.

– Расскажу как-нибудь, не неволь. Что ты такой нетерпеливый, всё тебе знать надо. Много будешь знать, скоро состаришься.

Стариться мне не хотелось, я отступал, но не надолго – любознательность брала верх, и я заходил с другой стороны:

– Когда тебя признали нестроевым, ты почему пошёл в повара, а не в сапожники, например, или в ездоные?

– Да так как-то захотелось.

– Но почему? Ведь работа эта тяжёлая, сам говорил, всегда на ногах, рано вставать, поздно ложиться...

– Лёгких работ, если по-настоящему, не бывает. Не приставай, недосуг мне.

– Тебе всегда недосуг. Даже когда пьёшь.

– Само собой. Тогда закусывать надо, песни петь, беседовать.

– А пить зачем?

– Вот назола – отстань!

Много в нём было непонятого. Чтобы утишить сомнения, дома я спрашивал нашу бабушку Настю, его мать. Она соглашалась, что да, выпивает Яков частенько, Иван Ильич так себе не позволял, да ведь и жизнь тогда другая была, вольная. А тут в колхоз загнали, на скотный двор поставили, и конец. А он ведь мастер на все руки, ему простор надобен, разворот. С председателем тогда поскандалил, тот ему судом пригрозил, а Яшка взял да завербовался со всей семьёй на Север, где заключённые, – вот, мол, вам, не боюсь я вашего суда. А там, видать, нагляделся на «светлую-то» жизнь, приехал назад и ещё больше выпивать стал. Не без людской помощи, конечно, – всем для чего-то нужен, все вином расплачиваются. А потом война...

О войне Яков Иванович не любил рассказывать – противное-де, это занятие, страшные увечья да смерть, в конце первого боя блевал, как с перепоя, жрать два дня ничего не мог. Водку, правда, выпивал. Наркомовские сто грамм. Иногда сто пятьдесят или даже двести – за убитых, которые не дождалась ротного старшины с ужином. Эти наркомовские многих привадили к зелью, узаконили как бы его, сделали лекарством от смертной усталости, простуды или какой-нибудь заразы. Вот и подкреплялись, лечились.

Подкреплялся Яков Иванович чуть ли не каждый день, оказывая односельчанам разные услуги, меру свою знал – полтора гранёных стакана, триста граммов водки, но иногда перебирал и тогда становился нетвёрд на ногах, однажды даже упал, до крови разбив голову о завалинку. Я в тот раз случился поблизости, помог ему подняться и повёл в медпункт, успокаивая, что ничего страшного, сейчас Ева Абрамовна перевяжет и всё у нас будет хорошо.

– Да, да, хорошо, – бормотал он мрачно. – У нас всё хорошо, у нас перевяжут. Мозги перевязали, а голову чего не перевязать – перевяжут. – И стал рассказывать, сколько народу сгнуло в тюрьмах и лагерях не за понюх табаку, сколько орлов он видел на Севере до войны и в штрафных батальонах на фронте – не дай и не приведи, Господь.

На другой день я навестил его, протрезанных мозгах. Он отмахнулся:

– Не говорил я этого, забудь. Живём мы веселей.

– Да? Но как же тюрьмы, лагеря, штрафники? Вот вернулся с Колымы и тоже говорит, что потерял – уголовники в карты проиграли.

Он потрогал перевязанный лоб, вздохнул: – Жить нам, сынок, надо по совести. – Жить честных людей. И ещё не лезть на шею без нашей поддержки. Ослабнет и сгинет.

– А не сгинет?

– А не сгинет – изменится, подослабляется, перестраивается. Неужели пока, значит, терпеть?

– Не просто терпеть, а делать своё дело этому царству.

– Как ты?

– Хоть бы и как я. За каждый кусок хлеба на других не сваливал, чужого хлеба и не оглядываются.

Вот и бабка Настя советовала да. Отца-де у вас, сироток, нет, а Яков Иванович зовут по имени-отчеству, приглядывай. Он и на фронте вон кормил больш...

На роль учителя Яков Иванович нечаянных его уроков я запомнил.

Однажды осенью, когда уже надо было резать старую овцу. Я пошёл за Яковом Ивановичем.

Яков Иванович не отказался, мол, плёвое, какой же ты мужик, остро наточенный нож, и мы пойдём.

Мама уже вывела из хлева Машу. Яков Иванович перекинул на неё и просил маму принести большую кастрюлю.

Он велел мне держать блюдо под овцу снизу по её горлу. В белое эмальное блюдо, овца задёргалась-задрала.

и, когда блюдо наполовину заполнилось кровью, и через несколько коротких минут Яков Иванович положил нож на меня:

– Чего насупился? Мне то же самое послушно вытягивает. Хоть бы...

На другой день я навестил его, протрезвевшего, и напомнил о перева-  
ленных мозгах. Он отмахнулся:

– Не говорил я этого, забудь. Живём мы весело сегодня, а завтра будет  
веселей.

– Да? Но как же тюрьмы, лагеря, штрафбаты? Иван Иванович Кошевец  
зот вернулся с Колымы и тоже говорит, червонец отстучал зазря. Глаз там  
потерял – уголовники в карты проиграли. Как жить, зная такое?

Он потрогал перевязанный лоб, вздохнул.

– Жить нам, сынок, надо по совести. Знать своё дело, семью, сродников,  
всех честных людей. И ещё не лезть на рожон. Царство их не вечно – сгинет  
без нашей поддержки. Ослабнет и сгинет.

– А не сгинет?

– А не сгинет – изменится, под нас станет подделываться, при-  
способливаться, перестраиваться. Некуда ему дальше.

– И пока, значит, терпеть?

– Не просто терпеть, а делать своё дело как следует, не прислуживать  
этому царству.

– Как ты?

– Хоть бы и как я. За каждый грех своими боками рассчитывался,  
на других не сваливал, чужого хлеба тоже не ел. А они против жизни идут  
и не оглядываются.

Вот и бабка Настя советовала держаться поближе к Якову Ивановичу.  
Отца-де у вас, сироток, нет, а Яков Иванович – родной дядя, не зря его все  
зовут по имени-отчеству, приглядывайся, учись у справедливого человека.  
Он и на фронте вон кормил большого генерала – доверили!

### III

На роль учителя Яков Иванович никогда не замахивался, но несколько  
значимых его уроков я запомнил.

Однажды осенью, когда уже установились морозы, мама попросила за-  
резать старую овцу. Я пошёл за ним.

Яков Иванович не отказался, но поглядел на меня укоризненно: дело-то,  
мол, плёвое, какой же ты мужик, если не умеешь. Вымыл с мылом руки, взял  
остро наточенный нож, и мы пошли.

Мама уже вывела из хлева Машку, которая покорно стояла рядом и жда-  
ла. Яков Иванович перекинул ногу через овцу, зажал её между колен и по-  
просил маму принести большое блюдо и кружку. Когда всё было доставлено,  
он велел мне держать блюдо под вытянутой мордочкой овцы, а сам полоснул  
снизу по её горлу. В белое эмалированное блюдо враз хлынули огненные  
струи, овца задёргалась-задрожала, но Яков Иванович держал её крепко,  
и когда блюдо наполовину заполнилось кровью, она уже стала затихать  
и через несколько коротких конвульсий успокоилась совсем.

Яков Иванович положил её на крыльцо и подозрительно поглядел  
на меня:

– Чего насупился? Мне тоже не больно хорошо: покорная она, ждёт, шею  
послушно вытягивает. Хоть бы сопротивлялась, несчастная тварь, кричала

хоть бы, вырывалась... Ладно. Давай-ка для крепости тела... — он взял зелёную кружку, зачерпнул почти полную крови, протянул мне. — Пей.

Я замотал головой.

— Боишься. Тогда я первый, а ты за мной, — он медленно выцедил всю кружку, зачерпнул ещё и подал мне. — Она парная, как молоко, не бойся. Мясо ведь ешь.

Я взял кружку, понюхал — да, пахнет вроде бы тёплым молоком, — закрыл глаза и выпил. Да, почти парное молоко, но ощутимо солоней, теплей. Даже в желудке ощущается её теплота, горячит. И вытер губы ладонью, которая стала красной.

Яков Иванович одобрительно кивнул и велел подвесить овцу на углу избы за задние ноги. Затем стал её свежевать, показывая, как это делать ловчее и лучше. Причём работал не столько ножом, сколько кулаком, и в пять минут раздел овцу, стащив с неё шкуру, как чулок.

Конечно, я с детства видел, как режут скот, но особенно не вдавался в подробности, не фиксировал внимания на том, например, как пересекают сухожилия и отламывают ноги, как вырезают внутренности, как добиваются чистоты отделения кожи от тушки, и не пил живую ещё, не успевшую свернуться, тёплую кровь. В деревне никто её не пил. И с того дня что-то во мне изменилось, и изменение это было серьёзным, затрагивающим не профессиональные навыки по забою скота и разделке туш, а что-то основное во мне, корневое, связанное с отношением к людям и всему нашему миру.

При этом я помнил, что Яков Иванович, мама и многие другие односельчане отнюдь не жестокие люди, скорее, напротив — добры, жалостливы, терпеливо-самоотверженны. Мама даже вытирала покрасневшие глаза, когда её Машку полоснули ножом по горлу, а потом собирали в блюдо кровь. И Яков Иванович ещё у себя дома, прежде чем вымыть руки, попробовал пальцем остроту ножа — тупым не только плохо работать, тупым измучаешь скотину, испугаешь её, а она ведь не виновата, она не должна знать о смерти, она должна умереть мгновенно, нечаянно, как счастливики на фронте, убитые сразу наповал. Он и о траве почти так же говорил, когда готовился к сенокосу. Трава-де не должна даже ощущать своей гибели, её надо смахивать миглом, а для этого косу лучше держать вострой, как бритва. При этом и потерь будет меньше: трава ляжет в рядок целехонькой, неизмочаленной, без корней и земли, весь сок в ней засушится сбережённым, а значит, сохранятся и вкус, запах, цвет. В мире ведь нет ничего душистей свежего сена со степных лугов.

С этим я не спорил. Бесподобен, ни на что не похож аромат свежего сена, вернее, ароматы, потому что в степном разнотравье их много, каждая травка пахнет по-своему, и вот великое множество засыхающих трав благоухает согласным хором, дарит дружный букет ароматов, а вокруг расстилается зелёная степь, светит солнце, поют птицы, и жизнь кажется вечно молодой, безначальной и бесконечной.

В этом лирическом плане как-то сам собой вспоминается другой нечаянный урок Якова Ивановича, связанный с любовью.

Дело было летним вечером. Мы, подростки пятнадцати-шестнадцати лет, возвратившись с сенокоса вместе с Яковым Ивановичем, спешили до-

... чтобы наскоро поужинать, переод... настроились на весёлый лад, торж... шёл молча, позволяли тонкие намёки н... зваяя:

— Да-а, опять ночь, опять любить<sup>41</sup>... Будто холодной водой окатил. А ве... Мы озадаченно притихли и разо... даже не пошёл на пятачок

... на всю жизнь запомнил я эту отре... Причём сказанную без назидания... слышу о случаях изнасилований, ... я вспоминаю своих сверстник... Якова Ивановича с нашими односель... воспитателями.

Или вот так называемые дурные... бытовые, в деревне распрост... и дурными-то у нас не считали... Шульженко по радио пел... «Давай закурим, товарищ мой!» Или... кто командовал ротами и умира... Сталина! Выпьём и снова нальём... чарочке, по нашей фронтовой...»

Яков Иванович слушал эти песни... казалось бы, тут его протестующее... и пил без ограничений, но мы и... авторитет, повар Рокоссовского... Однажды, наблюдая, как мы в... выпускаем сразу по три дыма — из... самокрутку и ткнул себя в груд...

— Вот послушайте-ка здесь, уда... Мой товарищ Валька Горячкин, ... груди, замер и удивлённо под... — Хрипит как, ребя, поёт — будт... И я тоже подивился, услышав... которые всхлипы старого куриль...

— Вот и у вас так будет, — по... «Ветерик»? — Чего же тогда не бросишь? — Заставить некому, привык. Э... Да ещё времечко, как назло, ... — и мечтательно закрыл

<sup>41</sup> Вместо «любить» он сказал слово...



мой, чтобы наскоро поужинать, переодеться и идти на пяточок к девкам. Мы уже настроились на весёлый лад, торопились, перебрасывались сальными шуточками, позволяли тонкие намёки на толстые обстоятельства. Яков Иванович шёл молча, курил, а перед своей избой, заплывав окурок, равнодушно обронил, зевая:

— Да-а, олять ночь, олять любить<sup>41</sup>...

Будто холодной водой окатил. А ведь он любил свою Саню.

Мы озадаченно притихли и разошлись по своим избам, а я в тот вечер даже не пошёл на пяточок у развала бревен — почувствовал усталость.

На всю жизнь запомнил я эту отрезвляющую и вовремя сказанную фразу. Причём сказанную без назидания, мимоходом, как бы даже случайно. И когда теперь я вижу хлопоты о половом воспитании подростков и молодёжи, слышу о случаях изнасилований, встречаю статьи и книги о сексуальной жизни, я вспоминаю своих сверстников, их вполне благополучные семьи и Якова Ивановича с нашими односельчанами, которые и не считали себя воспитателями.

Или вот так называемые дурные привычки, вроде курения и пьянства, самые бытовые, в деревне распространённые даже больше, чем в городе. Их и дурными-то у нас не считали. «Кури, сынок, мужиком в доме будет пахнуть». А Шульженко по радио пела: «Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ мой!» Или мужские серьёзные голоса: «Выпьем за тех, кто командовал ротами и умирал на снегу... Выпьем за Родину, выпьем за Сталина! Выпьем и снова нальём». И ещё об этом же: «Нальём, друзья, по чарочке, по нашей фронтовой...»

Яков Иванович слушал эти песни с усмешкой и в застолье их не поощрял. Казалось бы, тут его протестующее слово не должно иметь силы, он сам курил и пил без ограничений, но мы и тут приглядывались к нему — специалист же, авторитет, повар Рокоссовского!

Однажды, наблюдая, как мы в подражание ему глубоко затягиваемся и выпускаем сразу по три дыма — изо рта и ноздрей, он затоптал недокуренную самокрутку и ткнул себя в грудь.

— Вот послушайте-ка здесь, удалцы.

Мой товарищ Валька Горячкин, самый бойкий из нас, приложился ухом к его груди, замер и удивлённо поднял брови.

— Хрипит как, ребя, поёт — будто старая гармонь!

И я тоже подивился, услышав в груди своего дяди хрипенье, свисты и мокрые всхлипы старого курильщика.

— Вот и у вас так будет, — пообещал Яков Иванович. Прокашлялся и отхаркнул жёлто-коричневый табачный плевок. — Видите, какая гадость в лёгких?!

— Чего же тогда не бросишь?

— Заставить некому, привык. Это ведь такая гадость, что и бросить трудно. Да ещё времечко, как назло, нам выпало похуже нынешнего. Если бы бросить! — и мечтательно закрыл глаза.

<sup>41</sup> Вместо «любить» он сказал слово грубое, передающее только физиологическую суть любви.

Пьянство он вроде бы не осуждал, относился к пьющим сочувственно, но пьяное молодечество, состязания, кто больше выпьет, откровенно высмеивал:

– Питухи! Да самый сильный из вас сорок напёрстков ни за что не выпьет.

Мы недоверчиво улыбались: женский напёрсток – такая малость, и пяти граммов не наберётся, всего, стало быть, выпьешь не больше стакана. О чём тут говорить.

– А вы попытайте, попробуйте, – не отступал Яков Иванович.

– Да тут и пробовать нечего, – сказал Валька Горячкин. – Отец у меня литруху запросто подымает. С закуской, конечно.

– Тут тоже можно закусывать, – разрешил Яков Иванович. – Выпил, закусил и опять пей. Сорок раз. Но лучше не пробовать, не искушать судьбу. Напёрстком не искушать? Смех, ребята, розыгрыш. Дома за ужином я рассказал дюжему ветеринару Вассиярову, который у нас квартировал на время студенческой практики.

– Ерунда, – сказал он уверенно. – Я на спор полтора литра водки выпивал, а тут меньше четвертинки. Хочешь, проверим. Но проспоришь – с тебя бутылка.

На другой день в обеденный перерыв я принес четвертушку водки, нарезал хлеба, вынул из погреба солёных огурцов. Потом принёс чайное блюдце, поставил в него напёрсток, налил.

– Ну, рвани!

Вассияров кинул напёрсток в рот, усмешливо почмокал губами.

– Да тут малость какая-то, до пищевода не дошло.

– А ты закусывай, закусывай.

Вассияров засмеялся, пожевал хлеба и выпил ещё. Потом похрустел огурцом. И ещё принял. Ещё. Будто лекарство, будто капли какие-то... Девятнадцать напёрстков выпил Вассияров, раскраснелся, вспотел, потом стал бледнеть.

– Слушай, – попросил он, отдуваясь, – давай я буду закусывать не после каждого напёрстка, а после трёх, например. Очень уж долго выходит, занудно.

Я не возражал, и он выпил ещё три раза по три напёрстка, стал совсем белый и поехал с лавки под стол. Я с трудом удержал его, тяжёлого, крупного, оттащил на середину комнаты и уложил на правый бок, подсунув под грудь и за спину подушки, чтобы не повернулся навзничь и случайно не захлебнулся рвотными массами. Он был без сознания.

Подождав немного, я ушёл на работу, но часа через два, тревожась, прибежал домой поглядеть. Вассияров был уже румяный и спал вполне нормально, как всегда.

Вечером, распивая со мной проигранную бутылку, он говорил досадливо:

– Ах, дурак я, дурак, как же я поддался на приманку вашего маршальского повара! Я хоть и ветеринарный, а всё-таки без пяти минут врач. Как же я не подумал с первого напёрстка, с первых капель, что происходит своеобразная спиртовая ингаляция, водка микродозами всасывается слизистой ещё во рту, и всё это кратчайшим путём идёт в мозг, в лёгкие... Да, тяжело пить стаканами, а напёрстками ещё тяжелее. На всю жизнь запомню.

А Яков Иванович, узнав об этом опыте, мне проверки надо сперва на себе делал. – Он же добровольно вызвался, я не за.

– А ты сам? Всё на себе ведь испытывал.

– Я – другое дело, я край знаю. И потом.

– Пробовать хочется. Вот тебе охота стать.

– Зачем?

– Вот видишь! А мне охота, – он нам.

Самя рождает дочерей, а я бы родил сыновей.

– Ну, у баб наших. Как, смекаешь?

– Не знаю.

– Ну вот видишь. А я и в повара пошёл.

как мужик, многое познал: работы там.

карты. Саню свою любил, воевал два.

раз надел халат, фартук и поварскую шапку.

Зеркалом вертелся: совсем другой человек.

Красивый. А когда сварил борщ и кашу.

– И долго ты был поваром у Рокоссовского?

– Не был я у него поваром.

– Как так? Все считают, и ты сам говорил.

– Не говорил я про то. Я говорил про борщ и кашу.

Вышло это случайно, когда я возвращался, вышел к нашей кухне.

Целый день, говорит, голодный сто грамм поднёс. Спасибо, говорит.

не ел. Хороший ты повар, молодец.

Здесь? – и Яков Иванович пустился в объяснение, что важнее уж нет ничего на свете.

Я плохо слушал эти рассуждения моего героя – он ведь оказался, в Рокоссовском, он самый заурядный солдат.

Каждую посеянную и уборку кормит пшеницу и то сезонно, полтора-два месяца пошлют.

Тщеславие молодости не знаешь. Повар был фронтовым солдатом.

Понадобилось много лет, чтобы я узнал, о том, что уметь накормить солдат в бою, что желание иметь сыновей – тоже не чудачество, не прихоть.

И Яков Иванович не мог понять, почему было его странное желание.

Я думался, что этот мир менее жёсткий, чем тот, в котором я вырос.

Мне хотелось переналадить, сделать мир таким, каким я хотел.

Но случилось так, что я изменил своё мнение. Но случилось так, что я изменил своё мнение.

А Яков Иванович, узнав об этом опыте, покачал головой и сказал, что такие проверки надо сперва на себе делать.

— Он же добровольно вызвался, я не заставлял.

— Но было же сказано, что лучше не пробовать, не рисковать.

— А ты сам? Всё на себе ведь испытываешь.

— Я — другое дело, я край знаю. И потом, натура у меня такая: всё самому испробовать хочется. Вот тебе охота стать бабой?

— Зачем?

— Вот видишь! А мне охота, — он наморщил лоб и усмехнулся. — У меня Саня рождает дочерей, а я бы родил сыновей, стал бы выкармливать их грудью, обшивать-обмывать, вязать им носки, варежки... У них ведь другой мир, у баб наших. Как, смекаешь?

— Не знаю.

— Ну вот видишь. А я и в повара пошёл из-за этого. Сорок лет был мужик как мужик, многое познал: работы там всякие, драки, пьянствовал, играл в карты, Саню свою любил, воевал два с лишним года... А вот когда первый раз надел халат, фартук и поварскую шапочку, веришь, нет, минут пять перед зеркалом вертелся: совсем другой человек, будто и не мужик, вроде бы даже красивый. А когда сварил борщ и кашу и командир похвалил за вкусноту, несчастливей меня не было на земле человека.

— И долго ты был поваром у Рокоссовского?

— Не был я у него поваром.

— Как так? Все считают, и ты сам говорил...

— Не говорил я про то. Я говорил, что Рокоссовский похвалил меня за борщ и кашу. Вышло это случайно, когда он приезжал на передовую. Обрат-но возвращался, вышел к нашей кухне, где оставлял «виллис», и попросил поесть. Целый день, говорит, голодный. Ну я покормил. Даже наркомовские сто грамм поднёс. Спасибо, говорит, солдат, никогда с таким аппетитом не ел. Хороший ты повар, молодец. И адъютант тоже похвалил. Лестно ведь? — и Яков Иванович пустился в рассуждения о поварском деле, таком важном, что важнее уж нет ничего на свете.

Я плохо слушал эти рассуждения, по молодости я был разочарован в своем герое — он ведь оказался, в сущности, непричастен к знаменитому Рокоссовскому, он самый заурядный повар солдатской кухни, а теперь вот каждую посевную и уборку кормит нас, сельхозрабочих отстающего совхоза, да и то сезонно, полтора-два месяца в году. Остальное время работает, куда пошлют.

Тщеславие молодости не знает границ. Я как-то тогда забывал, что этот повар был фронтовым солдатом, что медаль «За отвагу» зря не дают, но понадобилось много лет, чтобы я вспомнил и его рассуждения о поварском деле, о том, что уметь накормить человека сложнее, чем его убить, хоть бы и в бою, что желание иметь сыновей и готовность ради этого стать женщи-ной — тоже не чудачество, не прихоть: послевоенная деревня осталась без мужиков, и Яков Иванович не мог тогда не беспокоиться. Да и не только ради сыновей было его странное желание. Он видел в женщине другой мир, он надеялся, что этот мир менее жесток и агрессивен, чем мужской, что жизнь надо как-то переналадить, сделать безопаснее и уютней. Правда, потом он изменил своё мнение. Но случилось это после смерти его любимой Сани,

после того, когда он не вынес одиночества (дочери жили своими семьями) и женился на сладкогласной Кулиньке, вдове из соседнего села. Как-то он не разглядел, стреляный воробей, за сладкогласием хитрой Кулиньки мелкую и вздорную Акулину. Она вскоре перестала считаться с его своеобразной натурой, постоянно скандалила из-за выпивок, запрягла его, старика, строить новый дом и так до времени свела в могилу.

Он умер однажды утром, мучаясь после вчерашнего, просил поднести ему рюмочку, но Кулинька не только не поднесла, не полечила, но устроила ему скандал, кричала, что он полоротый дурак и пьяница, что это покойная Саня всё терпела, как блаженная, и прощала, а она, Кулинька, не будет терпеть и ничего не простит.

Хоронили его всей деревней, чужие бабы плакали, как по родному, вспоминали, что был он не только поваром маршала Рокоссовского, но и добрейшим человеком, песельником, а главное — мастером на все руки. Великим сельским мастером, умелым земледельцем и хранителем русской деревни.

Василий  
— Мужла  
мужик. Что  
Он дейс  
это все зна  
Кому всех  
Дуниным.  
неправда?  
луторки. К  
ему «ура»  
ерунда.  
— Я па  
— Ну д  
нимал?  
— Вра  
Солд  
ствитель  
паровоз.  
Одна  
ей, над  
солдат  
торжест  
бить од  
полной  
дат